

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

1

В одной рубашке, шлепая босыми ногами, Растегин ворвался в кабинет. На огромном столе трещал телефон, соединенный с биржевым маклером.

Александр

Демьянович сорвал трубку и стал слушать. Низкий лоб его покрылся большими

каплями, на скулах появились пятна, растрепанная борода, усы и все крупное, красное лицо пришли в величайшее возбуждение. "Продавать!" - крикнул он и повалился в кожаное кресло.

Сейчас каждая минута приносила ему пятьдесят тысяч. Ошибки быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь, курил папиросы, одну за другой, и весь дубовый кабинет застилало, как сумерками, дымом.

Левая рука была занята телефонной трубкой, правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу, пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и

прожег ее; волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя. Бритый лакей принес кофе; Александр Демьянович гаркнул на него - "пошел", - и снова схватил телефонную трубку. На бирже начиналась паника... Растегин влез в кресло с ногами, закрыл глаза, стиснул зубы. В левое ухо его с треском неслись цифры с четырьмя, с пятью, потом с шестью нулями. Растегин тяжело дышал.

Вдруг дверь кабинета распахнулась от резкого толчка, и вошел молодой человек небольшого роста, со злым и бледным лицом.

- Что это за фасон? Иди, одевайся, - проговорил он деревянным голосом.

Растегин замахал рукой, зашептал: - Молчи, молчи! - Художник Опахалов сел на угол стола, закурил папироску и, дожидаясь, пока кончат наживать шестой миллион, принялся оглядывать стены, вещи и самое рыже-голубое чудовище - Растегина.

- Обстановочка у тебя, как в парикмахерской, - сказал он отчетливо, - ты бы еще свадебную карету себе завел, ландо с гербами, урод!

Растегин швырнул трубку в аппарат и, почесывая волосатую грудь, растопырив голые ноги, закричал:

- Шабаш, довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие. Одних картин твоих, брат, на пятьдесят тысяч куплю.

Опахалов зажег сигару и, болтая ногой, сказал:

- Я в этот хлев ни одной картины тебе не продал?. Что это у тебя за стиль? Для моих вещей требуется полный антураж, да и бороду сбрей, пожалуйста.

- Чтобы я для твоей картины бороду сбрил?

- Дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу, чтобы все было у тебя в стиле. Жить надо стильно, тогда и картины покупай.

Такие разговоры происходили у них часто. На этот раз Александр Демьянович поддался.

- Послушай, ты, как это говорится, берешься меня обработать до осени?

Под двадцатые года? - спросил он после некоторого молчания. - К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться, тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Маросейке торгует, так он до того дошел, - спит, говорят, в неестественной позе, по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не подела-ешь. Валяй, брат, вези меня брить!

Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедленно. Растегин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был куплен старинный особняк на Пречистенке. И все антиквары, брик-а-брак и поставщики мебели кинулись разыскивать подлинную двадцатых годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек, пустить в подлинный стиль.

До середины июля Растегин и Опахалов ремонтировали и обставляли дом, собирали предков и старинную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы и разговор его не выпирал из всего стиля уродски. Для окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд, посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта. Опахалов остался в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой, Растегин же выехал в Н-ский уезд одной из волжских губерний.

2

Высокая белесая рожь уходила во все стороны за холмы. Над раскаленной пылью дороги, куда мягко опускались копыта лошадей, висели большие мухи.

Пыль, выбиваясь из-под конских ног, из-под колес, неслась клубом за тарантасом, садилась на кумачовую спину ямщика, на шляпу из дорогой соломы и подбитое шелком пальто Александра Демьяновича. Он уже давно бросил отряхиваться и вытирать лицо; по бритым щекам его полз пот, оставляя дорожки. Проселок впереди все время загибал, пропадая во ржи, - не было ему конца.

Александр Демьянович слез с парохода нынче в шесть утра и сейчас уже перестал представлять себе низенькие дома с колоннами, задумчивых обитателей, дороги из усадьбы в усадьбу через тенистые парки, за зеленую сирени - тургеневский профиль незнакомки. Рожь, пыль, мухи, зной пришибли воображение. Тележка, попадая в рытвины, встряхивалась точно со злостью; ямщик иногда привставал на козлах, кнутом промахивался по слепню на пристяжной и говорил с досадой:

- Слепень совсем лошадей заел!

Дорога поднималась на холмы, опускалась, опять поднималась, вдалеке вставало из-за земли облако и таяло. "Когда же ты, черт, доедешь", - стонал Александр Демьянович.

- А вон тебе и барыня Тимофеева, - ответил ямщик, указывая кнутом на верхушки деревьев.

Лошади свернули на межу. Из лощины поднимались огромные осокори и

ветла; появилась красная крыша.

Рожь по сторонам становилась все выше и выше и кончилась. Лошади въехали на пустой, поросший кудрявою травой, дворик.

В глубине его между деревьев стоял ветхий дом. Окна с частыми переплетами обращены на желтоватую стену ржи. Дверь на крыльце была открыта; около, на травке, стояла худая женщина в коричневом платке на плечах; изо всей силы она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки; унылая собака тянула в свою сторону, в дом. Когда лошади выехали из ржи на дворик, женщина бросила веревку и обернулась; собака тотчас ушла в комнаты.

- Сама барыня, - сказал ямщик, лихо сдерживая лошадей, которые немедленно же и остановились.

Александр Демьянович, приподняв шляпу, выскочил из тарантаса, шаркнул ногой по траве и сказал:

- Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу.

- А по делу, так в комнаты пожалуйста, - проговорила барыня тоненьким голосом и прошла вперед в темную прихожую. - Пыльное вы снимите здесь и

сядьте в гостиной, к окошечку. Вот ведь у меня какая собака непослушная, тянешь ее, а она упирается.

Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную.

Здесь было гологато и пусто. Засиженные мухами обои треснули кое-где и отклеились; более темные места указывали, что когда-то здесь висели портреты; ситцевый диванчик и кресла едва стояли на гнилых ногах; только у окна было придвинуто крепкое садовое кресло, на него-то и сел Растегин, оглядываясь и думая:

"Странно; совсем что-то не то, хотя действительно записано (он посмотрел в блокнот) - дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых,

были в боярской думе, при Борисе, жалованы вотчины з Смоленской, в Казанской и прочее".

Размышляя об этом, он слушал, как за стеной повизгивала собака и слышался голос барыни: "Будешь ты у меня в комнаты шляться? Как тебе не стыдно? А еще умный. Иди к себе в будку. Смотри, рассержусь". После этих слов собака за стеной зарычала; барыня притихла. Растегин долго слушал, как жужжала муха между двух стекол, затем принялся покашливать, постукивать каблуком, от нетерпения и досады двинул кресло.

- Марья, поди посмотри, что это приезжий возится, - сказали за стенкой.

В гостиную осторожно заглянула толстая, простоволосая баба.

- Баба, долго я буду тут дожидаться! - закричал на нее Растегин.

Баба ахнула и скрылась. Тотчас за стеной начали шептаться. Наконец барыня Тимофеева явилась к сердитому гостю, села на креслице, сложила на коленях руки и принялась молчать.

Лицо у нее, спокойно-наклонное к плечу, было узкое и в морщинах, волосы гладко зачесанные, с шезырюшкой на маковке; под заплатами юбки

прятала она ноги в мужицких сапогах.

"О чем с такой чучелой разговаривать?" - подумал Растегин и сказал довольно сердито:

- Я путешествую для ознакомления с бытом помещиков, у меня есть рекомендательные письма, разрешите предложить несколько вопросов.

При этих словах барыня Тимофеева испугалась:

- Я дворянские внесла, и опекунские внесла, и земские. Это есть другая Тимофеева. Она действительно никогда ничего не платит.

Растегин сейчас же выяснил, что он - частное лицо и лишь просит продать ему что-либо из старины.

- Продать? Что же вам продать еще? - все еще растерянно сказала барыня, - а уж я струхнула, думала, - какой-нибудь тайный агент. Коли надо вам, возьмите вот диванчик этот или кресла. Их действительно давно нужно продать.

- Нет ли у вас чего-либо постарее, более стильного?

- Ведь это тоже очень старое, - робко ответила барыня и, подумав, все же повела гостя в столовую. Здесь посреди комнаты стоял черепок с молоком да несколько стульев у стены, старое дамское седло на подставке.

- Вот седло разве, - проговорила она задумчиво. Из столовой прошли в залу. Здесь уже ничего не стояло. Окна были зашиты досками; в глубине полуотворена дверь в небольшую комнату, залитую сейчас солнцем. На звук шагов оттуда послышалось рычание.

- Так и знала, что она туда забралась, мало ей во всем доме места. Неслух, вот я тебя плеткой, - воскликнула барыня и тронула Александра Демьяновича за рукав, - сударь, помогите мне с ней справиться, пожалуйста.

Растегин вошел в освещенную комнату и поднял трость. С дивана в дверь с жалобным воем кинулась все та же собака.

- Вот что значит мужская рука в доме. А я что скажу - как об стену горох, - молвила барыня и потянула было Растегина из комнаты. Он же воскликнул удивленно:

- Послушайте, да ведь у вас тут целое сокровище запрятано. Та-та-та, покупаю весь кабинет.

Действительно, в небольшой комнате с темно-зелеными обоями стояли два тяжелых дивана с бронзой и резьбой, шкафы, полные старинных книг, столы - овальные и бобочком, конторка на витых ножках, в углу - горка с трубками. Сбоку непомерного кресла - пюпитр, на нем - развернутая книга, листы ее покрыты густою пылью; на всех вещах, на мелочах письменного стола, на пятаках у окна, на корзинке с шерстью - серая пыль; казалось, вещи здесь никогда не сдвигались со своих мест; только там, где лежала собака, можно было различить тусклый узор на штофе дивана.

- Ах, нет, я бы не хотела ни с чем этим расставаться, - после молчания прошептала барыня Тимофеева, и в испуганных глазах ее появились слезы.

Растегин потрепал ее по плечу и сказал:

- Если бы вы имели дело со скупщиком, тогда, конечно, барыня моя, но я, как говорится, по натуре - артист-реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид старины, но, так сказать, самый ее дух. За ценой не стою. Берите за все пять тысяч, ударим по рукам.

Барыня ахнула: пять тысяч!

- Вы сумасшедший, - прошептала она, отвернувшись к окну, вынула платочек и, тихонько покачивая головой, долго стояла молча. - Знаете, мне самой ничего не нужно, но мои старики больше всего любили эту комнату. Я

уже так ее и сохранила. Конечно, деньги требуются очень, но, боюсь, старики мои огорчатся; кабы я могла знать? Но нам разве дано знать о подобных вещах!

Растегин с удивлением оглядел ее сутулую спину, дрожащий кукиш волос на затылке, мужицкие сапоги. "Ого, барыня-то, кажется, того", - подумал он и проговорил:

- А не напоите ли вы меня чаем? С утра, знаете ли, подвело.

На террасе, на самой земле, накрыли чистенькой скатертью стол, толстая баба принесла измятый самовар, глиняный горшок с молоком, черные лепешки.

Барыня, облокотясь на стол, помешивала ложечкой, глядела на зеленый дворик, на стену ржи, обогнувшей ветхую ограду, за которой стояла береза и небольшая часовня; глаза у барыни все еще были печальные. Посмотрев на нее, на всю ветхость вокруг, на измятый самовар, Александр Демьянович подумал: "Вот так двадцатые годы! - довольно скучно".

Он опять заговорил о кабинете, накинул две тысячи, просил хорошенько подумать до вечера и, докурив папиросу, бросил окурком в воробьев, которые пищали и прыгали на полу террасы.

- Они под часовней лежат. Гробы закрыты, но не заколочены, хотите посмотреть? - спросила барыня Тимофеева.

- Нет, благодарю вас, - ответил Растегин и подумал: "Шалишь, я за твоих покойников двугривенного не дам".

- Летом дни длинные, к ночи очень устаешь, а зимой дни короткие, - опять сказала она.

- Да, зимой день будет покороче.

- Сидишь одна по вечерам, раздумаешься, раздумаешься, пойдешь в кабинет, смотришь - а батюшка - в кресле, голову вот так опустит, будто смотрит себе на колени, а матушка на меня глядит, сидит и глядит. Они в один день умерли, совсем уже были старенькие. Конечно, вам тяжело отказывать себе, если так уж нравится кабинет. Но как же быть!

Она не спеша встала, предложила еще чаю, постучала по кринке с молоком пальцами, затем попросила обождать и пошла через дворик вдоль ржи, едва волнуемой колосьями выше ее головы, и скрылась за часовней.

Солнце тем временем село. Настал час, когда особенно кусаются комары. Растегин щелкал себя по шее, по щеке, принимался чесать ноги между башмаками и концами брюк. Опустилась роса, и комары, попищав, скрылись. В

закате засияла звезда; темнело медленно. В дверях появилась унылая собака, понюхала и скрылась. Растегин поднес к носу часы. Было уже девять. По росе босиком подошла баба, взяла самовар, прижала его к толстой груди.

- Баба, куда барыня провалилась? - спросил Растегин злым голосом.

- Барыня давно спать легли. Летом наша барыня в часовне спит, а зимой в дому. Мы весь дом зимой топим, батюшка. - Баба вздохнула и пошла.

- Эй, ты, вели сию минуту лошадей подавать! - крикнул ей вдогонку Растегин и, глядя на обсыпавшие все небо звезды, на белеющую под ними рожь,

на силуэт часовни с высокой березой, думал, куда ему теперь из этой чертовой дыры ехать и где заночевать.

Повороты с проселочных дорог всегда надо разыскивать от межевой ямы; в ночную пору, если ямщик и нашел яму, опрокинувшись в нее вместе с лошадьми

и тарантасом, то около оказываются уже не одна дорога, а сразу три, и, поехав по средней, попадешь на пашню или в овраг.

Так и Александр Демьянович, отъехав от барыни Тимофеевой, очутился, наконец, посреди поля; небо заволокло, звезды пропали, и едва видна была дуга на кореннике. Без шума катились колеса прямо по траве, и вдруг тарантас принялся подсакивать, крениться направо и налево; Александр Демьянович вцепился в железки, стиснул зубы.

Ямщик сказал спокойно:

- По пашне едем.

- Свороти на дорогу! - закричал Растегин.

- Сейчас выедем. Но, милые! Фу ты! Стой, стой!

Ну, что, если в овраг угодим? Чистое наказание, темень какую наворотило!

После этого долго стояли где-то, поворотив лошадей по ветру; ямщик, слезший с козел, оглядывался, топал ногой по пашне, кряхтел.

- Некуда ей деваться, обязательно должна быть дорога, вот ведь ехали, ехали и заехали! - Наконец он, захватив кнут, сказал: - Вы тут подождите да крикните, когда я голос подам, а то и вас потеряешь, - и пропал в темноте.

Александр же Демьянович сидел, спрятавшись в воротник, и слушал, как негромко пел ветер в гривах, в плетеном кузове тарантаса; на нос и щеки падали иногда капли дождя; Растегину казалось, что с левой стороны черное место - овраг и колеса на краю обрыва; он боялся пошевелиться, - вдруг дернут лошади.

- Триста лет, черт бы их задрал, помещики жи" вут, и хоть бы дороги устроили; ну, что стоит поставить фонарь... Темень проклятая! - бормотал Растегин. - Двадцатые года! Тысячу раз дурень этот ездит и каждый раз плурует, наверное.

Он, ворча и досадуя, начал зябнуть, зафыркал носом, завертелся. - Василий! - закричал вдруг Растегин, высунувшись из воротника, - где ты? - Лошади сейчас же дернули и пошли; он кинулся к вожжам и, не найдя их, принялся взвизгивать не своим голосом; испуганные лошади побежали рысью,

увозя тарантас прямо к черту. Вдруг коренник захрапел, ударился обо что-то, пристяжка запуталась, и лошади стали. Александр Демьянович с размаха налетел на козлы и различил впереди себя огромный крест.

Дрожь пробрала Растегина; не смея пошевелиться, вспомнил он, что подобные кресты ставят на местах, где находят путника, погибшего не своею смертью. Стало казаться, что повсюду из черной пашни торчат подобные кресты. И какие же люди должны жить в этом бездолье, бездорожье и темноте?

- Вот он и крест. Вот и дорога, - громко проговорил ямщик, вдруг появившись около тарантаса. - Видишь ты, куда заехали! К самому, то есть, мосту. - Он живо влез на козлы, присвистнул и поворотил направо.

Но направо моста не оказалось; повернули налево, и тоже не было моста. Ямщик поехал напрямиком, но сейчас же осадил коней и сказал с испугом:

- Ну, барин, нас бог спас, гляди - совсем в овраг въехали.

- Нет, уж пожалуйста, я дальше не поеду, - стуча зубами, пробормотал

Растегин и выскочил из тарантаса. - Какой ты ямщик! Дурак ты, а не ямщик!

- Земля, она - земля, разве ее поймешь? - ответил ямщик.

Светать еще не начинало, но понемногу небо зазеленело у краев, стали различимы и лошади, опустившие морды, и кузов тарантаса, и согнувшийся на

козлах ямщик в картузе; а еще спустя немного проступила и трава и борозды пашен; издалека, едва слышно, донесся крик петуха.

- Кочета поют. Это ивановские петухи, - прошептал ямщик, вытянув ухо, - вот какого мы крюка дали.

- Почему это непременно ивановские петухи?

- По голосам слышно, голоса тонкие. У нас в Утевке у петуха голос грубый.

- Эх ты, рожа, - с ненавистью сказал Растегин, ему так и чесалось стукнуть глупого ямщика, - куда ты меня спать повезешь?

- Куда ехали, туда и привезу. Разве мы зря завезем. Мы здесь с малолетства на этом деле, слава богу, сколько годов ездим. Рядились к барину Чувашеву на усадьбу, вот тебе за Ивановкой тут и усадьба.

Скоро совсем прояснило. Александр Демьянович влез в тарантас и замолчал. Ямщик, выбравшись из буераков, живо покати по светлеющей дороге

на крик петухов. Скоро забрехали собаки, вправо показались ометы соломы, избы, утонувшие в соломе, ветхие плетни, за которыми пели на тонкие голоса знаменитые ивановские кочета, влево же синела куща сада...

Ямщик, нахлестав, прокатил березовую подъездную аллею, завернулся на просторном дворе и стал около нового небольшого дома.

В одном окне горел свет. Растегин вылез из тарантаса, прижался к стеклу и увидел бревенчатую комнату, у одной стены - большой красный ящик

на козлах, напротив - стол, на нем горящая свеча, две голых до локтя руки, в них растрепанная голова спящего человека, и от его локтя по всему краю стола лежащие окурки. По огромному усу Александр Демьянович признал в спящем старого своего приятеля, Семена Семеновича Чувашева. Он был известен

в свое время за кутилу и бешеного игрока; и вот уже Александр Демьянович не помнил хорошо: Чувашева ли побили, Чува-шев ли побил, или никто никого не

бил, но какая-то дама вообще не вовремя родила, словом, был скандал, и Чувашев пропал из Москвы.

Удивленный сейчас необычайным его видом, Растегин громко постучал в стекло. Чувашев испуганно вскинул голову, кинулся к ящику, открыл его, что-то понюхал, захлопнул и только тогда повернулся к окну.

- Семен Семенович, это я, не узнаете? - закричал Растегин.

Семен Семенович исчез и тотчас же появился на крыльце, поддергивая клетчатые панталоны и недовольно щурясь.

- Ба-ба-ба, - проговорил он, - как не узнать. А за каким делом занесло вас в эту дыру? - И, не дожидаясь ответа, выпучил покрасневшие глаза на ямщика: - Ты что это у меня по клумбам ездешь! Молчать! - закричал он, хотя ямщик и не отвечал ничего, с видимым сожалением оглядывая помятые клумбы.

Александр Демьянович кое-как уладил дело, - дал завопившему внезапно

ямщику на чай и вслед за хозяином вошел в дом. Уселись они за тем же столом, напротив красного ящика.

- Вы по какой, по пуговичной или по канительной части, я уж и забыл, - спросил Чувашев.

- У нас арматурный завод, окна и двери обделываем, да не в этом сила, на бирже немного подыграл, миллиончиков шесть, - ответил Александр Демьянович.

- Сколько? Так! А к нам зачем?

- За стилем.

Семен Семенович сейчас же вскочил и в волнении пробежался по комнате. Гость подробно объяснил ему цель и значение своей поездки. Чувашев остановился перед самым носом Александра Демьяновича, поддернул штаны и

только крикнул, ничего не сказал и опять принялся бегать.

- Скажите, вы на ощупь чувствуете эти шесть миллионов? - спросил он наконец, - ну, и чувствуйте, черт с вами. Вот что я скажу: не туда заехали. Стиль этот я к себе на пистолетный выстрел не подпущу! Прадед, бабка и отец из-за стилия меня без штанов на белый свет выпустили. Досталось мне от батюшки вот сколько... А было... Эх! Зато теперь - шалишь, я в себе американскую складку нашел... Надо дело делать, надо деньги ковать, вот вам мой стиль!

- Так-то так, а только на земле много не наживете, спекулировать на ней - туда-сюда, а то рожь да рожь - противное занятие.

- Ну, знаете, я не так глуп. Именьишко это дала мне одна добродетельная тетка в пожизненное пользование. Я спросил себя только - "способен?" и - конец. Никаких размышлений. Вот мой принцип: каждую минуту

я должен заработать минимум одну копейку: итого в сутки четырнадцать рублей

сорок копеек, минимум, - Чувашев повернулся на каблуках и вдруг схватился за свой длинный нос, точно в испуге, - тсс, - прошептал он, - вы ничего не слышали? как будто пискнуло.

- Да, действительно кто-то пищит, - прошептал Растегин.

Семен Семенович живо подскочил к ящику, распахнул в боку его дверки и залез туда с головой.

- Вот это яйца, вот это я понимаю, ни одного болтуна, - проговорил он оттуда и вылез обратно, держа в руках пятерых только что вылупленных цыплят, - вот не угодно ли - пять-паровых цыплят, а к осени будут у меня из них, на худой конец, пять петухов. Дело золотое, хотя беспокойное, наладились, подлецы, выводиться по ночам; черт их знает - думаю, какая-то ошибка в инкубаторе; при этом паровой цыпленок - прирожденный хам - ничего

не боится, так и лезет под воронье. На! В каждом деле не без урону. Эх! Обратный бы мне капитал, я бы всю Европу курятиной накормил. Теперь вот

что - идем купаться и завтракать.

- Мало я расположен купаться, - возразил Растегин, но все же поплелся вслед за хозяином в дом. Бревенчатые комнаты были уставлены универсальной

американской мебелью, везде висели карты, картограммы, чертежи, на столах и

подоконниках стояли механизмы для ловли мышей, для переплета книг, для вязанья носков и кальсон, из одной машины торчал недошитый башмак и прочее, и прочее.

Чувашев указал рукой на все это и сказал:

- В этом доме каждая минута превращается в мелкую монету: сам шью, сам вяжу, сам тачаю, сам продаю, мышеловка выдумана мной, патентована, принцип

чисто психологически-вкусовой, мышшь лезет в нее в невероятном количестве. Покупайте патент.

- Нет, я, знаете, лучше что-нибудь из старой мебели.

- А я говорю - такой мышеловки вы нигде не найдете.

- Нет, я патентом не интересуюсь.

- Купите одну модель. Поглядите, какая работа.

- Работа действительно хорошая.

- Берите, берите, по старой дружбе уступлю за пятьдесят рублей.

Александр Демьянович пожал плечами, все же вынул деньги, а мышеловку, не зная куда девать, положил в карман.

После этого приятели вышли на балкон, спустились в парк, сырой и туманный, прошли мимо клумб, разбитых еще в старину, а теперь засаженных

капустой и салатами, обогнули дом, и Чувашев велел гостю подняться по лестнице на крышу. Здесь на высоких козлах стоял жестяной бак.

- Это мое второе изобретение, - сказал Чувашев, - я одновременно обливаюсь водой на свежем воздухе, не теряю времени шляться на речку, и уже использованная вода идет затем по желобам на поливку овощей. Не угодно ли под бак?

На крыше дул ветер, было сыро и холодно. Растегин понимал, что наверняка простудится, но хозяин так уговаривал, что пришлось все-таки раздеться и стать под бак, который тотчас сам и опрокинулся, обдав Растегина ледяной водой. Александр Демьянович молча схватил одежду, слез вниз и, трясаясь и шепча ругательства, слушал, как наверху фыркает и возится американец.

После купанья завтракали на террасе. Александр Демьяновичу хотелось спать, но Чувашев повел его смотреть птичник, утиный садок, небольшой консервный завод, причем тут же продал впрок триста жестянок утиной печенки

и еще кое-какого месива; вывел за ограду парка и указал на кучу земли, смешанной с навозом и порошком, его, Семен Семеновича, патентованным удобрением; но от покупки этого Александр Демьянович отказался наотрез. Больше смотреть было нечего. Приятели медленно возвращались по старой аллее в дом.

- Дорого бы я дал посмотреть, как живут настоящие помещики, - сказал Растегин, - вот одна такая аллея может облагородить человека.

Чувашев сейчас же остановился, ударил себя по лбу и воскликнул:

- Бац! О чем же я думаю! Сегодня везу вас на именины к Ражавитинову.

Там увидите весь уезд. И уж такие двадцатые года - стул не передвинут. Меня по крайней мере всегда прямо тошнит в этом доме. Согласны? Вы мне дадите за

это сто целковых.

- Да, знаете, вы действительно американец. Ну, да ладно, ваша сила. Везите меня на именины, - сказал Растегин.

4

У больших окон ражавитинского дома беседовали дамы, глядя на подъезжающих гостей.

У каждого свой обычай подъезжать. Иной, надвинув картуз и подбоченясь, чертом вылетает на своих серых из тучи пыли под самое крыльцо; другой и клячонку выберет похуже и упряжь веревочную, и сам подмигивает на то, как дамы в окнах потешаются его видом; иной едет степенно и с важностью и, как гусь, всходит на крыльцо, а иной спешит поскорее укрыться в дому, боясь пуще всего на свете - показаться смешным.

В одном окне стояли две барышни Петуховы, обе премило одетые в голубое, и рассказывали молодой вдове Сарафановой вполне дозволенные вещи.

Молодая же вдова внимательно слушала, как в следующем окне прокуренная табаком помещица Демонова ругала ее на все корки.

В третьем окне стояла хозяйка дома, всегда имеющая почему-то вид беременной, и с унынием глядела на толстую, высокую, красную, косую помещицу Тараканову, которая говорила восторженным басом: "Дорогая, я вас

жалею от всего сердца, ваш муж просто воробей, посмотрите: вот мой Петя - это идеал человека".

Идеал человека, без малого пудов на десять, находился тут же, одетый в табачный жакет и белые панталоны; он прятал одну руку за спину и слушал с милой улыбкой на круглом лице, попожем на овощ, иногда приговаривая шлепающими губами:

- Ну, котик, ты уж слишком!

Мимо окон спокойно прохаживалась девица Рубаки-на, рябая, в очках, и в мужской поддевке. В уезде ее называли ефрейтор. Папаша Рубакин, со своими почками, сидел неподалеку в кресле и с любовью и страхом глядел на дочь, ожидая от нее всего. Она славилась как лихой наездник, стрелок и как большая умница, с великими причудами. Прошлым летом были кавалерийские маневры, и "ефрейтор" участвовал в них, не слезая с седла: сама ходила с офицерами и в атаки и на разведку, переплывала реку и хлопала водку, как сам эскадронный. Папаше Рубакину, при своих почках, пришлось трястись за ней недели две, старика это чуть не зарезало. Но все же ни один из офицеров так на ней и не женился.

В глубине белой, с колоннами и портретами, низкой залы стояли, дымя табаком, два брата Сомовы, в чесуче и с такими складками на шеях, будто они их перевязали веревочкой. Здесь же вертелся Дыркин, Петр Петрович, в полосатеньком пиджачке, который он при всяком случае называл петанлером.

О травосеянии, как средстве удержать в помещичьих руках уплывающую землю, беседовал с братьями Сомовыми националист Борода-Капустин.

Другой,

просто Капустин, держал за пуговицу своего дядю - маленького, усатого,

взъерошенного либерала Долгова, и говорил:

- Если тебя приспичила совесть, - возьми и поплачь, а мужиков не порти, не трогай.

- Все-таки, того-этого, ты меня лучше за пуговицу не держи, - отвечал Долгов.

Сам хозяин, Егор Егорыч, с виду совсем англичанин, хотя чрезмерно тучный, духом - коренной русак,

характером же воробей, как выразилась Тараканова, все чаще пропадал за дверью, где звенели ножи, стучал фарфор, и оттуда долетал его веселый голос; появляясь в гостиной, он говорил:

- Господа, немного еще подождать умоляю, вот-вот Семочка Окоемов подъедет, без него, право же, нет аппетита.

Наконец одна из барышень, Петухова, воскликнула:

- Едет, едет!

Гости подошли к окнам, глядя, как через клеверное поле ехали два экипажа. В переднем сидел один, без кучера Семочка Окоемов, в заднем - Чувашев и какой-то посторонний.

- Кто бы это мог быть? - задумчиво спросил папаша Рубакин, - какой-то бритый, кажется симпатичный.

- Странная рожа, - сказал Сомов.

- Да, рожа скверная, - промычал младший Сомов.

- Еврей какой-то, - сказал Капустин.

- А надавай ему в шею, - проворчал Борода-Капустин.

Дыркин ничего не сказал; он внимательно вглядывался, точно признавал Растегина; старое, сморщенное лицо его изобразило почти испуг, верхняя губа приподнялась, и появились из-под седых усов желтые зубы.

Экипажи тем временем подъехали; Семочка Окоемов сидел прямо на дне тарантаса, в сене; он замотал вожжи на облучке и высунул огромную босую ногу, но, поглядев в окна, тотчас принялся обувать сапоги, которые снимал, чтобы не тосковали ноги.

Александр Демьянович вошел в залу и слегка даже сробел, увидев такое многочисленное общество. "Дворяне, вот они какие", - подумал он и, еще не зная, как себя повести, на случай несколько раз нырнул головой, как бы кланяясь. Никто на это не ответил. Чувашев подвел его к хозяйке и представил: "Старинный приятель, приехал по весьма щекотливому делу". - "Насчет мебели", - сказал Растегин. Чувашев же пошел шептать по гостям: "Биржевой воротила, Рокфеллер, приехал деньги швырять".

- А мы встречались, хорошо вас и помню, за картишками... Дыркин, здешний помещик, вот радость нечаянная, - заговорил Петр Петрович, когда до него дошла очередь здороваться, и затряс Растегина за руку, - сядем-ка рядом за обедом, очень, ужасно рад...

Тем временем гости пошли к водке, в изобилии стоявшей за отдельным столом, среди закусок таких аппетитных, что про каждую можно было смело сказать - под такую выпьешь море.

Помещики налегли на водку; у братьев Сомовых с каждой рюмкой оказывалось уже не две, а по шести складок на шее; Рубакин, держась за почки, наклонился над закусками, говорил: - Эх, старость не радость! - и пил под луковый соус. Борода-Капустин наливал себе зелье прямо в стакан, выпивал духом, говорил: - ух! - и нюхал корочку; Капустин приналег на

коньяк; один Дыркин больше вертелся да расковыривал вилкой паштеты, за что

получил от Сомова замечание: "Что ты, брат, все нюхаешь? Ты ешь, а не нюхай". Тараканов, как человек идеальный, к столу не подходил, хотя и смотрел на него издали, с видимым сожалением шевеля короткими пальцами.

С Растегиным происходило странное: едва он выпивал рюмку, она вновь сейчас же наполнялась, но, когда он нацеливался на какой-нибудь пирожок, снедь исчезала и отправлялась за спиной его в чей-то рот; все это проделывала одна и та же рука, грязная и большая, как лопата. "Съесть бы чего-нибудь, не выдержу натошак", - думал он, и опять его подталкивали под локоть, и голос Семочки Окоемова ревел над ухом: "Ну-ка, последнюю, это вам не Москва, передергивать у нас не в обычае".

Хозяин, Егор Егорович, кое-кого уже отгаскивал за руку от водочного стола, говоря: "Шалишь, брат, ты мне все дело испортишь", и понемногу помещики, вытирая рты, уселись к столу.

Растегин поместился напротив Окоемова, между Рубакиным и Дыркиным. В

голове у него стоял гул, и он с ужасом заметил, что число сидящих удвоилось.

Предварительная закладка развеселила всех, увеличила аппетиты; уже старший Сомов грохотал, трясая животом стол; уже Семочка Окоемов потребовал

восьмую тарелку ухи, а Дыркин пустился рассказывать вслух такую историю, что помещица Демонова уронила в суп с носа пенсне, повторяя: "Ой, умру!"

Барышни Петуховы мало занимались едой, они делали глазами следующее: глядели ими на кончик носа, закатывали кверху, затем вскидывали их на Растегина.

- Как вам нравится моя дочь? Большая оригиналка, это у нас в роду, - точно сквозь туман и гул голосов услышал Растегин голос Рубакина.

- Страшно нравится, - ответил он, замечая, что у вдовы Сарафановой необыкновенно расширяются зрачки.

- Осторожнее, она вас живо обработает, - шепнул сбоку Дыркин.

- У моей дочери мужской характер; если приглядеться, то она привлекательна, - продолжал Рубакин, печально жуя огурец.

- Послушайте, Александр Демьянович, меня вот Капустин спрашивает, вы не покупаете лошадей? У него есть преотличная тройка, - спросил через стол 1 а-раканов, но, дернутый за рукав женой, сейчас же прибавил: - Извините, это я так!

- Видите, как вам навязываются, - шептал Дыркин, - я здесь никого не уважаю. Вот, видите, Сомов, у него в кабинете нашли младенца в спирту, насилиу замяли дело, а этот черный, худощавый, Борода-Капустин, жену заморил, честное слово, голодом и живет с цыганкой; вы что - опять на Сарафанову смотрите? На нее в прошлом году церковное покаяние хотели наложить за распущенность. А знаете, почему за барышень Петуховых никто не сватается? У их отца жил араб из Индии в камердинерах, оказался большой проказой; смотрите, как у них щеки напудрены. По старой дружбе говорю, вам тут всего станут предлагать - и лошадей, и землю, и мебель, и девицу в жены, - отказывайтесь наотрез. Верьте моему честному СЛОВУ, все дрянь, а вот как свалит жар, к вечеру едем ко мне, я вас познакомлю с моей

домоуправительницей, вот это - женщина, настоящая загадка, прямо Будда или сфинкс.

- Ага, вот они когда! - внезапно закричал Семочка Окоемов басом; перед ним лакей поставил полную миску раков; Семочка крикнул и принялся их грызть, выковыривая, и прихлебывая, и жмуря глаза, причем трудно было рассмотреть, когда он кончал и когда начинал следующего рака; по рукам его и по безбородым щекам текли грязь и сок.

- Дыркин, замолчи сию минуту, иначе об тебя руку оботру, - сказал он вдруг, и на мгновение его мокрая и непомерная рука повисла в воздухе, затем он опять продолжал прежнее занятие.

Дыркин, только что пустившийся в описание красот домоуправительницы, сейчас же замолк и съежился.

- Вот этого черта больше всего надо опасаться, - шепнул он; и Растегину действительно стало казаться, что в этой глуши и его могут слопать, как вареного рака.

Дыркин продолжал:

- Смотрите, это нарочно он раками вымазывается, его заставляют на Рубакиной жениться, так он для отвращения вымазывается. А у самого на уме совсем другое.

Обед кончился. Разговаривать хорошо натошак, а после еды приятно взять подушку да и завалиться куда-нибудь в траву. Так почти все и сделали. Хозяйка дома, никому уже теперь не нужная, куда-то ушла; Егор Егорович, огорченный, что вот уже и конец обеда, еще подходил то к одному гостю, то к другому, пробуя заговорить, но гость только таращил на него слипающиеся глаза и во всем соглашался. Тараканов, отпущенный супругой, подошел к Егору Егоровичу и проговорил: "Пойдем, того, в траву".

Либерал Долгов сел на лошадей и уехал; в доме стало тихо, только где-нибудь раздавался густой храп во все носовые заворотки.

Растегин брел по аллее, покачиваясь иногда, и придерживался за березовые стволы; из травы кое-где торчал угол подушки или задранная коленка; Александру Демьяновичу было смутно и тяжело и в теле и на душе; за поворотом он увидел на скамейке Дыркина и Чувашева: они о чем-то точно совещались, хихикали и хлопали друг друга по коленкам. Повалившись рядом с

ними, Растегин сказал:

- А я представлял помещичью жизнь стильной, как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борисов-Мусатов! Раков жрут. Что это за разговор за столом, через каждое слово, - кобыла, овес, рядовая сеялка. Неужто все погибло? Я - эстет, мне тяжело, господа.

- Слушай, Саша, - проговорил Чувашев, оглядываясь, - ты прости, пожалуйста, ведь мы с тобой, кажется, на "ты" выпили, так вот что - едем, - делать здесь больше нечего, вышла неприятная история, я тебе по дороге расскажу.

- Я бегу, у меня уже парочка заложена, а вы через полчаса выезжайте, прямо ко мне, Александр Демьянович, милочка моя, доставлю вам великое удовольствие, - сказал Дыркин и долго тряс вялую руку Растегина, который, ничего не понимая, тяжело сидел на скамье.

- Семен Окоемов самый из них все-таки свежий человек, у него все в избытке - и рост, и брюхо, и страсти; он даже в университете учился, пока тетка не отказала именье, не большое, не малое, а ровно такое, чтобы есть, спать, напиваться и прочее - вволю. А затем появилась у соседа, у Дыркина, домоправительница эта Раиса, женщина плотоядная, чудовищная, с грозowymi эффектами. На Семочку Окоемова подействовала она, как землетрясение, он сразу похудел, затем выкрал ее у Дыркина, но она тотчас же сбежала. Теперь он держится такой политики - не допускать к Раисе никого, и в средствах действительно не стесняется. Видишь, брат Саша, не увези я тебя вовремя с именин, костей бы не собрал, ей-богу. Одного я не могу понять, что такое Дыркин накрутил с этой Раисой? Должно быть, очень хитрое; позвал он тебя ясно для чего: ему деньги нужны дозарезу; у Раисы свои деньги есть, да она их зарывает в саду, в кубышках, в разных местах. Дыркин при мне сколько раз начинал клянчить: "Раиса, Раечка, пожалей своего старикашечку!" - "Ей-богу, дедулинька, не помню, куда кубышку зарыла". - "А ты возьми и вспомни, подумай", - и он уж тут от умиления весь даже заслюнявится. - "Да где мне вспомнить, а может, злодей какой пришел да выкопал". - "А кто же этот злодей, душа моя? Имечко-то его скажешь?" - К этому весь разговор и ведется; злодей оказывался молодым соседом, которого увидела Раиса с балкона и пожелала. Дыркин надевает пиджачок и едет за гостем, а на следующий день Раиса выходит в сад со своим старикашечкой под ручку искать заветную кубышечку. Это одна комбинация. А другая будет посложнее, да ты сам увидишь. Здесь уж кубышечка ни при чем, да и денег, я думаю, у Раисы маловато осталось.

Все это говорил Чувашев Александру Демьяновичу. По ровной степи они подъезжали к плоскому дождевому озеру; по краям его стояли убогие избы, росла большая ветла, на бугорке торчали две мельницы, напротив из-за кущей сада поднимались два синенькие купола. В мелком озере плавали гуси; солнце садилось за соломенными крышами. И представлялось, что избы, плетни, журавли колодцев и две эти ветрянки долго блуждали по безводной степи, не находя прохлады, и, устав, присели здесь у дождевого озера кое-как, словно утомленные птицы.

Должно быть, потому село называлось - Птичищи. Никто его не любил. Народ в нем жил унылый. Однажды был приказ: с противопожарными целями вокруг каждой избы насажать палисадник. Но птичищен-ские мужики по этому поводу сказали: "Бог-ат сам знает, где расти дереву, где не расти", и подали прошение, не разрешит ли его благородие вместо палисадников отсидеть им всем миром в клоповке.

Тележка промелькнула спицами по береговому песку, отразилась в воде. Чувашев сказал: "Я тебя здесь подброшу, а мне нужно по делам; завтра увидимся", - и приятели въехали в барский двор, расположенный посреди села; здесь все заросло травой и кустами, постройки прогнили и покосились, кое-где крыша, крытая соломой, походила на сломанную спину; с крыш, со старых деревьев поднялось множество галок; Чувашев взглянул на часы,

наскоро пожал руку и тронул лошадей обратно: Александр Демьянович вошел в дом.

Встретила его в прихожей, низкой и затхлой комнате, горничная; она была одета в оборочки и кружевца и казалась очень грязной; высокая прическа на ней была растрепана, а на болезненном, невымытом лице - печальные, совершенно развратные глаза; снимая пальто с Александра Демьяновича, она к нему прижалась; он посмотрел удивленно, она сказала: "Господа давно ожидают в столовой", - и заковыляла вперед на хроменькой ножке, показывая дорогу. Проходя темную гостиную, Растегин увидел у боковых дверей фигуру не то в белом, не то в белье. Она, вскрикнув, скрылась: после ее остался запах острых духов.

- Наша барыня все спрашивала: скоро ли вы приедете, - сказала горничная вкрадчиво и отворила дверь в освещенную столовую.

На столе, среди вазочек, тарелочек и чашечек, кипел самовар. Около него сидел Дыркин, словно приго-рюнясь. Он не поднялся при появлении Растегина, а только странно посмотрел на него с кривой усмешкой и проговорил:

- Приехали? Раису видели? Чаю хотите? - Александр Демьянович, предупрежденный Чувашевым, повел себя просто, хотя и удивился такому приему: пододвинул стул, развалился и, закурив, зевнул.

- Устал, как черт, - сказал он, - не спал ни крошки. Вы уж меня и ночевать оставьте.

- А вы не хамите, - проговорил Дыркин спокойным голосом.

- Что-с?

Растегин сказал это, сдвинув брови, и сразу, точно проснувшись, Дыркин захихикал:

- Ой-ой-ой, какой порох! Мы люди свои, обижаться не стоит. Эх-хе-хех! Давайте-ка начистоту да на откровенность. Стариковское дело, как говорится, - табачок: плохое житье старичкам, - хочется, да не можетя, и обидно и терпишь, а если и скажу колкое, кто же осудит, кто обидится, эх вы, красота моя!

Растегин даже рот раскрыл, слушая Дыркина, который весь лоснился и походил каким-то дивным образом на большого, старого, лысого паука. С приговороч-ками и гримасами он описывал свое житье помещика средней руки.

Кругом в долгах, в постоянном беспокойстве о векселях и деньгах.

- Не для себя, ей богу, нет, а лишь для моей Раисы. А я уж сам в таких годах, что вот-вот и осенит меня, и не благодать, конечно, а как бы некое озорство над собой: уйду в монастырь. Вот только Раиса, а то бы сейчас удалился. И знаете, для чего? Люблю, когда сердце сосет: сладко и тошно, точно женщина тебя гладит. Поймете меня когда-нибудь, красавец! А сейчас у вас хвост трубой, мне и завидно. Что же: ваша взяла! Эх, Раиса, Раиса!

- А так говоря, начистоту, сожительницу мне свою, что ли, предлагаете? В этих вещах я никогда непрочь, только надобно ее посмотреть, - сказал Растегин.

Узловатые от ревматизма пальцы Дыркина, который наливал чай, поспешно задрожали. Он живо наклонил голову, и мясистые уши его стали красными.

- Вам крепкого или среднего? - спросил он. - Я крепкого налью, все

равно - лимон съест.

В дверях в это время появилась высокая и статная женщина в ярко-зеленом платье. Держа обнаженными руками концы красного шарфа, перекинутого через спину, она видом своим изображала бы серну, если бы не была так дородна. Светлые и выпуклые глаза ее холодно разглядывали Растегина.

- Раиса, друг мой, подходи, не бойся, - вкрадчивым голосом забормотал Дыркин и засуетился, подавая стул, - она у нас, беда, какая робкая... Святая душа, невинница... Ей-богу, честное слово, душа бы лишь была невинна, а ведь я ее из монастыря украл. Помнишь, Раиса, как по восьми часов службы простаивал! Английским пластырем ссадины на лбу заклеивал... Она же стоит и взглядом не удостоит, лишь в личике бледность... А внутри, может быть, адский огонь ее в это время глодал. А я вижу, чем ее взять, не красотой же своей! Стал ей письмеца подсылать, разными описаниями чувств, а также иллюстрации туда вкладывал. Оглянулась она раз на меня и покраснела. Помнишь, Раиса?

Дыркин вдруг выпрямился, сухонький, маленький, жилистый, - закатил желтоватые зенки больших, оттянутых глаз:

- Ах, Раиса, простишь ли ты меня? Развратил я тебя, моя кошечка, но ведь сама же ты к этому всему ужасно способная. А есть ли у тебя душа, вот и не знаю! Честное слово, мучаюсь давно: есть душа? нет ли души? Верить хочу, верить! Тогда бы днем телесно мы наслаждались, во время сна отлетали бы, устраивались на облачке и ласкались там с небесным излишеством. Ведь у души моей нет вставных зубов и лысины нет никакой, ведь душой я, быть может, на древнего грека похож!

- Помолчал бы ты, дед, - сказала Раиса нараспев, - при постороннем, а похабничаешь, - она взяла в рот варенье, измазала им и без того красные губы.

Русые ее волосы собраны были сзади тяжелым узлом, который точно все время клонил маленькую голову.

В первую минуту Александру Демьяновичу она даже не понравилась, но он смотрел, не отрываясь, на ее выпуклые, холодные, как драгоценные камни, глаза. Дыркин, притихший после окрика, сидел, пригорюнясь, над стаканом. Раиса ела варенье. Под столом, свистя шелком платья, двигались ее колени, словно что-то волновало ее, лицо же оставалось матовым и спокойным, ему не передавалось никакое волнение. Растегина прошиб, наконец, пот. Вдруг Дыркин

придвинулся к его уху и зашептал:

- Одним чудовищным воображением ее при себе держу, честное слово! Только чуть порозовеет, вот и все. Замечательно! Потребовала раз, чтобы ей карету синим бархатом обил. Надел я на нее красное платье, красную шляпу, в руки ей - красный зонтик, и так въехали в город. Все рты разинули. В театре ложу тем же бархатом велел околотить, гляди, мол, какой зверь сидит! Весь театр у нее перебивал: жены взвыли! А ночью велела себя по всем заведениям возить. Впереди на извозчике еврейчика достал со скрипкой, за ним Раиса в карете с цимбалистом-румыном, а затем - я, помещики и гимназисты какие-то увязались... Так всю ночь по городу и колесили. А утром вытащили из ее кареты румына совсем голого.

Дыркин захихикал, вскочил и, проговорив, что идет распорядиться насчет

постели для гостя, выбежал мелким шагом.

Растегин остался вдвоем с Раисой. Она перестала есть варенье, даже ложечка ее застыла на полпути до рта, - это была круглая ложечка с витой ручкой, держали ее два пухленьких пальца, а пятый, мизинец с блестящим ноготком, согнулся и разогнулся, и вдруг затрепетал. Тогда Александр Демьянович посмотрел ей в лицо: оно было мрачное теперь; "батюшки, людоедка", - подумал он; ее серые глаза точно опутывали паутиной, в них не было ни жалости, ни нежности. Наконец ему стало не по себе и тесно, - он криво усмехнулся.

- Чего смеетесь? - спросила Раиса громко и просто.

- Так, - ответил он.

- А зачем бреетесь?

- Так, бреюсь.

- Мужчина усы и бороду должен себе отрастить, - на что вы похожи?

- Отпустить, конечно, не долго.

Тогда она медленно усмехнулась так, что ему стало сразу и неприлично и свободно.

- За каким делом приехали, - проговорила она, - хорош!

Он живо пододвинулся со своим стулом к Раисе и захватил ее рукой за талию, шепнув: "Чего нам время терять!" - тогда ее глаза стали дикими.

- Это что еще? - прошептала она, отодвигаясь, - у нас ведь работников шесть человек, кликнуть недолго. Дедуля, - обратилась она к двери (Александр Демьянович живо обернулся и увидел внимательно высовывающегося

из соседней комнаты Дыркина), - кого ты ко мне привез? - и она подобрала платье и вышла. Дыркин появился из-за двери и, после довольно едкого молчания, проговорил:

- Собственно, за кого вы меня принимаете?

- Помилуйте, вы сами давали намек.

- Намек? На что я вам намекал? Не помню. Вы где? В публичном доме? Эх вы, молодой кобелек!

Растегин стоял, опустив голову; он был сбит с толку, растерзан сердечно, и уже левая рука его так и тянулась в карман пиджака за бумажником - естественным другом и спасителем во все времена. Дыркин сердито сопел.

- Идите спать, - проговорил он, - и помните, только игрой воображения и чувств можно добиться и себе местечка в женском сердце...

Александр Демьянович сидел в низенькой ветхой комнате у светлеющего окна. Дом спал. Тикали часы. По двору, поросшему подорожником, шли на озеро

белые гуси. Впереди них гусак взмахнул крыльями и загоготал. У полуразрушенных ворот сидела сосредоточенная собака, с усами; при виде гусей она поднялась и отошла в сторону. За изгородью, над соломенной крышей

поднимался дымок. Понемногу засвистали птицы в саду. Налетел ветер, зашумел

листьями, посыпалась с них роса. Осветились вершины лип, и в окошко, гУДя, ударила пчела.

Все это было ужасно далеко от того времени, когда Александр Демьянович, отменно одетый, летал в стальном, кожаном и хрустальном

автомобиле по улицам Москвы. Если встречался обоз или досадное препятствие, он его просто огибал или опрокидывал. Ничто не могло его обидеть, затронуть или огорчить. Там он был королем, а здесь Александра Демьяновича могли просто выдернуть, как редьку, выбросить в канаву, не посмотрев ни на что. Здесь ему ставили на вид прежде всего породу, а порода была таким особым ощущением, когда породистый человек, просто ли сидя или занимаясь делом, пускай даже мошенническим, сознает, что от его низа в землю идут корни и что выдернуть его и выкинуть, как редьку, - нельзя.

Конечно, можно было взять лошадей и уехать в Москву, но в том-то и дело, что сделать это было трудно.

"Боже мой, эта женщина слопает и меня и шесть миллионов, - думал в отчаянии Растегин, - нарядить ее в горностаи, в бриллианты, в райские перья, - вся Москва сбежится смотреть: на Красной площади показывай! И живет она с этой отвратительной рожей, черт знает что такое! Тоже, выдумал, поехал покупать старую рухлядь, комоды, драные диваны, - сидеть на них, что ли, легче? А вот такая женщина без толку пропадает! Как ухватить? Хлопнуть ее ста тысячами, вот и все. Ведь не пойдет, нет. Ох, боже ты мой, что за женщина!"

Растегин прислонился лбом к подоконнику и так просидел некоторое время; вдруг за стеной раздался обиженный женский вскрик. Александр Демьянович вскочил, прислушиваясь, на цыпочках подбежал к стене и различил

голоса Дыркина и Раисы.

- Ты чего не спишь? Ты все думаешь, ведьма! - шептал Дыркин.

- Да сплю же я, не щиплись!

- Нет, ты врешь, ты думаешь.

- Вот! Была забота! Привез какого-то бритого, он и посмеяться не может.

- Я тебе скоро офицера привезу, Раиса, в сажень ростом.

- Ох, привези, дедуля!

- Какая же ты все-таки дрянь, и ничему я тебе не верю. Я лучше от денег откажусь, а тебя на весь день запрю в спальню, тварь постельная! А его, ужо, после завтрака, за ушко да на солнышко, поезжай куда хочешь. Да, так и сделаю.

- Дедушка, а в пятницу по трем вексялям платить.

- В саду кубышку поищем.

- Нет, дедушка, искать я не буду.

- Чего же ты от меня хочешь? - взвизгнул Дыркин, - да ты ему совсем и не понравилась. Разве это мужчина? Износился весь, как старый хомут. Он мне сам сказал: "Мне, говорит, на женщин смотреть противно, а Раиса, говорит, ваша - пучеглазая и дура". Так и сказал.

Но Растегин уже не мог далее слушать. Он ударил кулаком по стене и закричал: "Врет, врет, врет, врет!" Сразу голоса притихли, Александр Демьянович постоял еще и со стоном повалился на постель.

- У меня с Раисой условие подписано, что держу я ее до тех пор, пока сам не изменю с другой женщиной. Да-с. А ночное приключение не что иное, как блажь. Завтра же она сама руки мне целовать будет. Чересчур полна стала, особенно в груди, вот ее идеи разные и одолевают. Сударь мой, мы, старики, вас насквозь видим: сегодня блажь, а завтра слезы. А я к Раисе

моей привык и на новые приключения больше не способен. На любовь же смотрю широко и без предрассудков. И вам искренно желаю успеха, но только условие одно, по-китайски, - пообедал и все там прочее оставил у хозяина, с собой ничего не унес, поняли? Погостите у меня недельку, и хорошенького понемножку. А Раису я не отпущу ни с кем.

Дыркин и Растегин сидели на лавочке в купальне, оба голые. Над гладкой водой, треща крыльями, стояла большая стрекоза, порой она уносилась вбок и вновь останавливалась, переливаясь золотой пылью вытаращенных глаз... "Ах, Раиса, Раиса", - пробормотал Дыркин. Утреннее солнце припекало, пахло досками и тиной. Растегин, совсем разомлев, глядел на стрекозу. Она для него была гораздо понятнее, чем все разговоры Дыркина, да он их и не слушал и поэтому невпопад спросил, потягиваясь: "На какую сумму вам по векселям-то завтра надо платить?" Дыркин сильно потер себе волосатые ляжки, опустил на грудь седую голову: "Тысяч на двадцать пять", - сказал он и, надув желтые, сморщенные щеки, выпустил из них воздух.

Тогда Растегин начал торговаться; Дыркин отвечал: "Нет, не могу, ей-богу, не могу меньше". И вдруг из-под морщинистых век его поползли две слезы.

- О чем торгуемся, - сказал он, - я лишь займы прошу у вас. Я бедный и хилый старик. А вы бог знает как понимаете мои слова. Я лишь люблю глядеть на чужое счастье, посмотреть в щелочку да послушать, как вздыхают два любовника. А деньги тут ни при чем, нет, ни при чем.

"Фу ты, какой скользкий старикашка, - подумал Растегин, - нет того, чтобы начистоту", - и ударил себя по голым коленкам. Надо бы лезть в воду. Александр Демьянович поднялся первый и стал на краю мостков. Вдруг позади его крикнуло, холодные руки ударили в спину, он полетел в воду, и сейчас же на голову ему свалился Дыркин, визжа, смеясь и захлебываясь. Отбиваясь от него, Растегин крикнул: - Пустите, вы меня потопите, - но Дыркин, приговаривая: "Нет, я еще сильный, я еще сильный", - старался засунуть его голову под воду.

- Тону! - закричал Растегин и, уже задыхаясь, стащил с себя старикашку, добрался до мостков и поспешно вылез, Дыркин же барахтался и плавал по воде, как паук.

- Это шутки, это все шутки, - повторял он, - какой вы сердитый! У нас всегда так балуются во время купанья. Вот наемни на меня Окоемоз наскочил, - потом откачивали.

Все еще сердясь на зверские эти шутки, Александр Демьянович поспешно оделся и пошел через парк.

В аллее, где над липовым цветом неумолчно гудели пчелы, Александр Демьянович встретил Раису: она лениво шла, задевая рукой за кашки, обрывая листья; ее глаза, теперь зеленоватые, полуприкрыты были веками; батистовый капот был до того прозрачен, что у Растегина захватило дух.

С минуту постояв у дерева, он подскочил, обнял Раису, прижал к себе и стал искать губами ее рта.

- Пустите же, - проговорила она медленно и точно с досадой; мягкий ее рот так и остался полураскрытым.

- Пожалуйста, пожалуйста, я схожу с ума, - повторял Растегин.

- А мне какое дело. Ах, да пустите же!

Шепотом, кое-как, он объяснил, что с векселями покончено, что ему разрешено здесь остаться, что времени терять нельзя, что он и все шесть миллионов к ее услугам, что глаза Раисы (хотя и на вершок от его глаз, но все такие же спокойные) не глаза, а бриллианты, бериллы, изумруды и прочее, что у нее не рот, а "безумный цветок", орхидея и прочее, что он, Растегин, убит наповал, погиб, он раб, сошел с ума и прочее, и прочее.

Раиса, наконец, освободилась.

- Вы мало папашку знаете, - сказала она, - в том-то и дело, что он меня ревнует, не дай бог, ничего хорошего ждать от него нельзя.

- Раиса, я готов умереть сейчас, вот здесь у ног.

- Это все говорят, миленький, а что-то мне видеть не приходилось, лучше уж и не божитесь, а вот мне большая охота отсюда уехать, богато пожить захотелось. Бога гневить нечего - лучше моего житья здесь нет, всего вволю, и жить просторно, и никто меня за дуру неученую не считает. А у вас в Москве, чай, скажут - вот вывез бабу, - так бабой и прозовут. А здесь - я барыня. И еще воздух люблю свежий и легкий. Вот какое дело. А лежала я ночью и думала: охота мне мотором в Москве народ подавить. Уж не знаю, как и быть-то с вами.

- Раиса, что хотите, что хотите, - требуйте.

- Вот чего я хочу, - начала было Раиса, но вдруг оглянулась, вырвала руку свою из горячих ладоней Растегина и отошла.

По дорожке подбегал Дыркин, засунув большие пальцы в карманы чесучового жилета, рот его был перекошен и плотно сжат. Став перед Растегиным, он закричал визгливым голосом:

- Не доверяю, не верю. Чек, чек на руки сию минуту пожалуйста, и не на двадцать пять, а на пятьдесят, иначе милости прошу искать себе других развлечений.

Здесь же на садовом столике Александр Демьянович подписал чек. Дыркин повертел его, понюхал, поглядел на свет и убежал все так же бодро, заложив в жилет пальцы.

- Дедушка! - закричала было ему вслед Раиса, но он не обернулся. Она задумалась, потом пошла, сопровождаемая одуревшим Александром Демьяновичем, в конец сада и стала на плетень.

- Знаете что, - он к этому черту Окоемову поехал. Ах, мучитель, ах, тиран безжалостный! Уеду я от него, назло. Что за наказание! - с досадой сказала она, слезла с забора и, дойдя до скамейки, уткнулась лицом в руки, затем вынула платочек из-за шелкового чулка. - Хотела было я над вами только посмеяться, теперь сама вижу - вы очень милый, - она положила руку на затылок Александра Демьяновича и поцеловала его в губы.

Раиса была совершенно непонятная женщина. Ра-стегин ей не нравился, и она решила, что недурно бы за такого выйти замуж; когда же подумала о своем старикашке, то пожалела и его и Растегина: одного за то, что бросает, другого за то, что не любит, обманет непременно и доведет, бог знает, до гробовой доски. Ей представилось, что хорошо бы прокатиться по Москве на розовом автомобиле, украшенном страусовыми перьями, и чтобы за шофера сидел седой полковник, обезумевший от любви. Она даже видела ясно, как из-под

мотора вытаскивают толстую перееханную барыню с покупками. "А не лезь",

-

думала Раиса. Затем ей захотелось такого, чего нельзя было себе даже и представить.

Но все же покинуть старый домик и сад, гусей и кладовые и все свое хозяйство Раисе, женщине деревенской, дочери писаря из соседнего села, представлялось невозможным.

Дыркин испортил дело. Он внезапно приревновал и обидел Раису несколько раз, обид же она сносить не умела; при этом он уж слишком поспешно выманил

деньги у Растегина и, ясно, хотел устроить дебош при помощи Окоемова, которого Раиса боялась и терпеть не могла.

Когда Александр Демьянович опять в том же саду пристал к ней за окончательным ответом, она поглядела ему на рубиновую булавку в галстук, вытащила ее и стала полегоньку колотить Растегина в нос: он блаженно улыбался.

- Несчастный, - сказала она, - ну, чего же вы ползаете по траве на коленках. Идите на конюшню, скажите лошадей закладывать; скорей бегите, а то раздумаю.

Растегин убежал. Раиса приколотла булавку на грудь и пошла в дом, где собрала кое-что из своих вещей. Затем села на крылечке, пригорюнясь, ей было страшно, как бы не расхотелось уезжать.

Внезапно Растегин появился из-за угла дома.

- Мерзавец кучер не дает лошадей, - сказал он взволнованно.

- И не даст, это папашкины штуки, - ответила Раиса и стукнула сердито по чемодану.

- Что же делать?

- А я почему знаю. Вот, вот налетят с этим уродом, как соколы. Такие озорники, страсть!

Все же Раиса очень разгневалась. Она ушла бы теперь - хоть пешком из дому. Пока они пререкались на крыльце и спорили, послышался колокольчик и

топот бешено летящей тройки.

Раиса струсила, бросила было чемоданы в кусты, но в раскрытые ворота влетели не ожидаемые озорники, а Чувашев, - стоя в коляске.

- Скорее, скорей, - закричал он, выпрыгивая и хватая Раису за руку, - ты ведь тоже едешь? - молодец баба! Я их версты на три обогнал. Едем прямо к дядюшке моему, Долгову. Туда они не сунутся.

Растегин подсадил Раису и прыгнул в коляску сам. Чувашев сел на переднюю скамеечку, и взмыленные лошади вынесли за ворота, мимо изб, прямо в степь.

Небо заволкло, погромыхивал гром вдалеке. Молча сидела Раиса, опустив голову, завернувшись в турецкую шаль. Растегин привставал и оглядывался. Позади, над пригорком появилась пыль.

- Гони, гони, - закричал не своим голосом Растегин, хватая кучера за воротник.

В темноте, в березовой старой аллее медленно шли Щепкин и Долгов. Щепкин обнимал друга за плечи; он был сед, стар и сутул. Оба осторожно ступали по мягкой дорожке, то беседуя, то замолкая, когда вверху громыхал гром и вспыхивала молния. Щепкин глядел, как свет ее, проникая под листовые своды, заливал мгновенно пегие стволы берез и лицо Долгова; оно было тоже сморщенное, с длинными усами, со спутанной бородой и прищуренным от неожиданности глазом. Все это появлялось и вдруг исчезало, и гром носился раскатами над притихшим парком. И снова молния вылетела из нагроможденных туч; а вот три огненных столба быстро опустились до земли; вот с севера раздвинулось, раскрылось полнеба, но не было ни ветра, ни капли дождя.

- Представь себе, ведь я очень стар, - говорил Щепкин, - должно быть, я по рассеянности позабыл помереть да так и остался. Но все же во мне живет привязанность ко всей этой суете. Посмотри, - он поднял палец, - и в ту же минуту в небе возникли, разорвались, брызнули огнем и загрохотали два огромных шара, - все это лишь пустой эффект, но очень возвышает душу.

- Трахнет вот такой эффект в соломенную крышу, - беды "е оберешься, - сказал Долгов.

- Иногда есть у меня даже потребность поужинать с друзьями, выпить вина, но, конечно, если я имею право на это. Но я никогда не мог оправдать ничего из своей жизни, не хватало дерзости. Ясно тебе? Для меня это ясно. Нынче минуло пятьдесят лет, как я ушел от Веры Ивановны. Странно, - у меня до сих пор сомнение - хорошо ли я поступил тогда, пожертвовав моим и ее чувством? Я не жалею, а раздумываю, нужно ли было все-таки так пренебречь всем, или оставить что-нибудь и для себя, доставить себе простое удовольствие, раз все пошло прахом. Нехорошо дожить до восьмидесяти пяти лет. Возвращаешься опять в младенческое состояние, предаешь забвению и жалости все самое высокое. Ты пойми, вникни: у Веры Ивановны была красота и

талант, а я был только владетель семисот человеческих душ. Я не мог увезти и заточить ее в деревне, лишить театра и города, я не имел права для своих удовольствий заставить работать семьсот человек, - каждый из них был такой же, как я. Ах, ты еще молод слишком, я тебя уверяю. В то время дворянство сознавало свои обязанности. Оно понимало, какую вину должно было искупить перед народом. Ни одного движения мы не имели права сделать для себя. Все для народа. А если и делали что-либо по слабости, то очень раскаивались. Мы во всем каялись. Я сказал Вере Ивановне, что мой отъезд в деревню пусть будет первой уплатой долга; я думал, что она будет наезжать ко мне, а пройдет лет десять, и совсем переедет. Она очень плакала тогда... Какая странная и милая женщина! Но все же она была у меня только два раза. Город ее соблазнил, в нем слишком быстро сгорают; а я, как старый хрящ, живу и живу, никому уже больше не нужный. А все - эта гроза. Надо же было раздуматься! Посмотри, там тоже вечная борьба, и молния, и грохот. Мне представляются там темные и белые всадники, они поражают, топчут друг друга, гремят щиты о щиты, падают копья, и нет победы никогда, ни на чьей стороне.

- Да, третьего дня плюхало, и вчера плюхало, и сейчас дождик припустится, уж это я знаю. Ах ты, господи, весь покос прогнил, - сказал на

это Долгов, - ты прости, что я отвлекся, я слушал тебя внимательно. Я очень высоко ставлю тебя. Во-первых, ты отдал мужикам землю, больше того, пятьдесят лет работал на них. И пускай они с тобой же теперь сутяжничают... Ах, черт, кадку-то я не перевернул...

Последнее восклицание относилось к дождевой кадлушке. Ее нужно было перевернуть и поставить под водосточную трубу. Чертыхнувшись еще раз, Долгов освободил плечи от руки друга и пропал между деревьями в темноте. Щепкин прислонился к березе и поднял голову.

Узкое, с горбатым носом и большими глазами, бритое лицо его то появлялось в свете молний, точно каменное изваяние, то исчезало; начавший налетать ветер приподнимал седые волосы над его высоким лбом.

"Нет, нет успокоения, - думал Щепкин, - быть может, так до конца и нужно быть смятенным. Но, господи, нужно мне, хочется ничтожной оплаты, хотя бы минуты высокой радости".

Тяжело ему было нынче еще и оттого, что на днях состоялись торги на последние оставшиеся семь десятин земли и полуразвалившуюся усадьбу; неизвестно было, где теперь доживать дни, - никто ведь не возьмется кормить старого, негодного мерина Урагана да еще более древнюю дворовую собаку Жука.

Неподалеку завозился и несколько раз шепотом чертыхнулся Долгов; Щепкин опустил голову и улыбнулся; он очень любил своего друга, хотя и полагал, что у него чего-то не хватает, - крепости ли нет, или мало веры, или слишком он издерган и, вместо главного, занимается часто пустяками.

Действительно, идет ли, например, Долгов в контору к мужикам, - на середине двора остановится и побежит в клеточных своих брючках на конюшню, но, не дойдя до конюшни, уже лезет через забор и глядишь - изо всей силы тащит репейник из цветочной клумбы. И все это делает, негодую на себя, угрызаясь. Поэтому главным душевным состоянием его было "самоедство".

В кабинете у него, на столе, между ворохом книг, счетов, записных книжек, мундштуков, ручек, карандашей и прочей мелочи, стоял хрустальный стаканчик,

и в нем - дедовское гусиное перо. Этим пером дед сводил счета - копейка в копейку, ничего не забывая.

Каждый раз, глядя на это перо или гусей, что прохаживаются по кудрявой мураве, чертыхался Долгов, понимая, что сельское хозяйство возможно только при отлично оборудованной бухгалтерии.

Но едва он, надев очки, принимался за приходо-расходные книги и счета, как от ничтожной причины, - например, при чтении записи: "Хомутов отдано в ремонт шесть штук рабочих" - мысль его незаметно перескакивала на иной предмет, и Долгов силился вспомнить, по какой линии столбовые дворяне Хомутовы с ним в родне.

А спустя час он уже заставлял себя за чтением мемуаров; и вновь с пуцим угрызением приходилось повторять, что без правильно поставленной бухгалтерии сельское хозяйство продолжать нельзя. Мылся ли он в уборной, копался ли в бельевом шкафу или тщетно старался поздно ночью раздеться и лечь спать - все равно приходилось чертыхаться, понимая, что на пустяки времени уходит уйма, а на нужное и должное его нет.

До сорока семи лет он так и не собрался жениться, хотя в этой области

были у него самые жестокие конфликты: девица Рубакина в прошлом году приехала к нему сама и потребовала брака. Долгов, очень этим смущенный и озабоченный, принялся ее благодарить (они гуляли в саду), но на середине одного плохо связанного предложения заметил, что клумба с петуниями не полита, и убежал за лейкой; на полпути он уже отвлекся другой идеей - о выпущенных в огород телятах, побежал на огород, и далее - пошло цепляться одно к одному, как обычно; он вернулся в сад только к вечеру; девица Рубакина, глубоко уязвленная, давно уже и навсегда покинула его усадьбу.

- Прости, пожалуйста... Я продолжаю тебя слушать внимательно... Эта проклятая кадушка куда-то закатилась, - проговорил Долгов, появляясь из темноты, - у меня в каретнике течет... Нет, я не то хотел сказать. Понимаешь - Ивановка горит. Надо бы послать туда машину... Пойдем, пойдем...

На заднем крыльце стояли бабы и рабочие, на крыше торчали мальчишки, все глядели в сторону, где, за плетнем и гумнами, над землей танцевали красные языки пламени; не было видно ни дыма, ни зарева, казалось, что здесь, в ста шагах за ригой, появилось это бесшумное пламя.

Вдруг пошел сильный дождь. Мальчишки закричали на крыше, бабы заохали.

Долгов влез на кадушку и повторял: "Ай, ай, ай, вот они, соломенные крыши"; затем он соскочил и убежал делать распоряжения, крича, бранясь и путая имена рабочих.

Дождь пошел сильнее; за его летящей сеткой огонь казался более красным, и вдруг появилось сияние. Замолкшая было гроза снова полыхнула над

пожарищем, загрохотала, и вот из огня поднялся высоко широкий язык и рассыпался искрами. Повалил багровый дым; появились тени на траве. Бабы начали голосить. Вдалеке на дворе бранился Долгов, сидя на бочке.

Щепкин отвернулся и пошел в дом: горело его село, на которое он положил всю свою жизнь; кончался последний акт комедии, догорали карточные

домики и опускался на них дождевой занавес. Щепкин прошел в летнюю, мало

жилую гостиную, сел на кожаный заплесневелый диван, прислонился щекой к

нему и в темноте и тишине натужно, с болью, заплакал.

В то же время Долгов скакал на бочке во весь дух по размокшей дороге к пожарищу. Оно открылось с первого же пригорка: догорали избы, светясь обнаженными переплетами крыш. Занималась еще одна изба - крайняя, и на ярко

освещенной с одного бока деревянной колокольне били в набат.

Бочка скакала по сплошной багровой воде вдоль плетней. Вдруг неподалеку послышался отчаянный крик о помощи. Долгов соскочил в грязь, приказал работнику гнать на пожар, сам же побежал по воде к повороту дороги. Здесь росли две ветлы, место было перекопано канавами, дождем наплюхало целое озеро. В неясном сумраке Долгов различил силуэты понурых

лошадей и перевернувшийся экипаж: около него возился человек в чапане, другой стоял и кричал: "Помогите!" На кочке, в воде, сидела женщина.

- Что такое, что такое? Кто вас просил по канавам ездить? Вон где

дорога. Черт знает, что такое! - прокричал Долгов, подбегая.

Человек, кричавший о помощи, подошел к Долгову и, не попадая зуб на зуб, проговорил:

- Я - Растегин, Александр Демьянович, дама вот моя ни за что не хочет из лужи вылезать и очень сердится; с нами Чувашев был, да куда-то убежал. Помогите, пожалуйста.

Долгов наклонился над женщиной, сидящей в воде, и воскликнул:

- Э, да это Раиса. Опять приключение? Вылезай, вылезай, нечего кобениться. Отправляйтесь-ка все ко мне на усадьбу, кучер дорогу знает...

Раиса от злости продолжала молчать. Ее вытащили из воды, посадили в экипаж и поехали шагом вдоль горящего села в Долговку.

7

Долгов остался на пожаре; Растегин и Раиса только за полночь добрались до его усадьбы. Чувашев же пришел еще позже, пешком, страшно злой, упрекал и кричал на Александра Демьяновича, потом забрался в мезонин, разделся и тотчас заснул.

Щепкин провел грязных и мокрых гостей в кухню, куда принесли горячей воды и сухое белье. Раиса, никого не стесняясь, разделась и принялась мыться. Растегин, при виде ее прелестей, забыл все несчастья и скверные слова, которыми его, не переставая, ругала подруга, и лез то с медным тазом, то норовил поцеловать ее в шею, за что получал по щеке.

Щепкин от соблазна удалил всю прислугу из кухни и сеней, сам поставил самовар и сел в столовой, думая: "Вот странные люди, даже вода не охладила у них пылу".

Пить чай явился один Растегин в ватном долговском пальто и валеных калошах; Раиса прошла прямо в дядюшкину спальню, легла на его постель и сказала, что не вылезет из нее, пока ей не сошьют нового платья. "Что вы, мой ангел, - сказал ей Растегин, - откуда я вам достану здесь платье, нам бы только до Москвы добраться". - "А мне какое дело, доставайте, где хотите, только модное", - ответила Раиса со злостью и, когда было он полез ласкаться, стукнула его коленкой, - сказала: "Не встану - год здесь пролежу, и эту рухлядь, Долгова, еще полюбовником своим сделаю", - затем расшевыркала подушки и легла к стене лицом.

Все это Александр Демьянович объяснил Щепкину за стаканом чая; рассказал также историю похищения Раисы, вплоть до того места, когда настала темнота, полил дождь, и лошади, испуганные грозой, понесли без дороги; они скакали по степи, пока земля не осветилась заревом пожара; около каких-то деревьев экипаж въехал в воду и перевернулся, все полетели в грязь; Чувашев побежал за народом, но застрял, должно быть, на пожаре.

- Одного я боюсь, что Дыркин и Окоемов явятся сюда, прибьют меня и увезут Раису; я всего жду от здешних людей, - сказал Растегин, боязливо оглядываясь на окно, за которым в темноте шумел дождь по листьям.

- Вы, конечно, имеете резон опасаться некоторых из помещиков, - ответил Щепкин, - современные условия, к несчастью, начинают создавать два типа помещиков - крупных, простых кулаков, и мелких, если хотите, жуликоватых дельцов, а есть такие, что принуждены продавать своих любовниц,

чтобы свести концы с концами; раньше помещик был более идеально настроенный, попадались мечтатели, но они осуждены на вымирание. Ваше замечание хотя и поспешно, но не лишено основания.

Щепкин говорил это, потирая руки, прохаживаясь от стены к столу; если бы не поздний час, не потрясения этой ночи, он бы никогда не стал говорить так дерзко.

Александр Демьянович ответил ему зевая:

- Все это верно: теперь купец пошел - большая сила... Но не в том забота! Ах! Женщины, женщины, знаете! Ну, откуда я Раисе платье возьму?

В это время в столовую вошел Долгов в одном полотняном белье, только что смененном; расправив усы, он сел перед налитой чашкой, хлебнул из нее, сказал: "Сгорело двенадцать дворов; ах, черт, пятый пожар с апреля месяца". Затем принялся осматривать Растеги-на, повернулся на стуле и внимательно оглядел своего друга, спросив: "Поссорились, что ли?"

- Я приустал немного, что-то у меня с сердцем, я, знаешь, пойду, - ответил Щепкин и вышел, сильно сутулясь.

- Смешной старик, - сказал Растегин.

- Нет, не смешной, - ответил Долгов, - а вот вы смешной.

- Я просто в преглупом положении: заехал с женщиной в незнакомый дом; едва не потонул, не сломал шею, какие-то дикие люди за мной гоняются; а вы знаете, во сколько мне уже влетела эта поездочка? Чего считать! На деньгах стоим; а только здешние порядки у нас, по-московскому, разбоем называются. Где я - в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господа помещики!

- Скажите, пожалуйста, вы в этом роде беседовали со Щепкиным? - спросил Долгов.

- Да, разговор у нас был жалкий, верно.

- Я думаю, что вам как можно скорее нужно уезжать отсюда, - сказал Долгов, опять залезая в огромную чашку с чаем, - мы вряд ли пойдем друг друга; я стар, Щепкин еще старше; лучше мы уж погибнем при своем негодном, а вы живите... Что вам нужно, - самое необходимое?

- Платье Раисе нужно да лошадей до вокзала-, чего же еще...

- Ах, да, платье... К несчастью, от моей покойной матушки остались одни ситцевые капоты... А вот у Щепкина я видел сундук с прабабушкиными робронами; я думаю - не разберет Раиса, было бы шелковое. - Боже мой, да это все, чего я искал! - закричал Растегин.

8

Утро было ясное, рожь уже просохла, но на листьях опутавшей ее повилики еще горели большие капли. Поваленная пшеница поднималась, а на мелком подорожнике, затененном стеной хлеба, оставались сизые полосы от шагов.

По мокрой траве, часу в восьмом утра, Щепкин шел пешечком из долговской усадьбы в свою.

На нем была люстриновая разлетайка и помятый картуз, из-под которого до плеч висели седые волосы. Наклонив худое и горбоносое лицо, он поглядывал на лужи под ногами, на опрокинутое в них облако, на полосы хлебов, на зеленые конопки вдалеке и за ними - соломенные крыши Ивановки.

Много лет видел он все это и каждый раз с новым очарованием поднимал глаза, и в него словно вливалась вся эта красота вечным и разумным покоем.

И каждый раз казалось, что - вот еще мгновение - и вдруг исчезнет последняя преграда, и, хлынув в него потоком, солнце, небо и влажный свет земли растворят его старое, ненужное тело. Между ним и этими полями осталась последняя тонкая преграда. Она еще мешала радости последнего покоя, будто земной путь не совсем был пройден, осталось совершить какой-то последний утомительный долг.

"Вот что значит провести бессонную ночь, - думал Щепкин, входя в конопли, - что это за последний долг? Какие у нас долги? От излишней гордости думаем, что должны кому-то; упал дождик, и просох, был день, и нет его, так и я..."

Он улыбнулся, сорвал метелку конопли, растер в ладонях зерна, понюхал и поглядел налево, где за колокольней начиналась куща барского с-ада. Здесь прожил он семьдесят лет, и за все эти годы так же стояли конопли, за ними крыши, колокольня и зеленый сад. И ему представилось, будто его жизнь пронеслась над этими местами, как вчерашняя гроза, прогремела и ушла; земля же, конопли и крыши остались теми же.

"Все-таки народ сильно изменился, - думал Щепкин, - теперь мужичкам наших чувств не нужно, без них обойдутся, умные стали сами и скрытные; деревня, как маховик: только поверни ее, потом не остановишь".

Он вышел к плетням и повернул на широкую, пустую сейчас улицу, к церковной ограде. По свежей грязи бежали мальчишки, ржали и брыкались. "Старый тетерев, старый тетерев!" - закричали они.

"Действительно, я похож на старого тетерева", - подумал Щепкин и поклонился Антипу, рыжему мужику в розовой рубахе, занявшему плечами и головой все окошко в избе.

- Здравствуй, батюшка-барин, - сказал Антип, почесал бороду и перебеднился весь в окошке, - а мы погорели малость, беда такая, уж я до твоей милости - в саду лесину одну присмотрел, срубить бы ее, а то зря пропадает.

Антип был мужик богатый и первый кляузник на селе; он постоянно кланчил всякую малость у Щепкина, а когда не кланчил, то судился, и он же был главный виновник теперешних торгов. От пожара Антип не пострадал ничуть и кланчил сейчас лесину - так, потому только, что увидел барина...

- стыдно тебе, Антип, - вот что, - проговорил Щепкин, затряс головой и постукал тростью... - Подожди, скоро все твое будет...

Он быстро пошел вдоль изб и в переулке увидел пожарище; ему не было ни досадно, ни больно, как вчера.

- Мужик прав, ему нужна лесина, а мне не нужна, - повторил он по обычной своей привычке вслух; но все же давешний покой пропал, и была потребность хоть немного посетовать.

Через калитку в каменной изгороди Щепкин прошел через аллею на круглый двір. Посредине его, обнесенные чугунной решеткой, поднимались старые пихты

и ели; между стволами просвечивало кое-где стекло разрушенных оранжерей.

Вдалеке полукругом стояли ветхие службы, а направо - деревянный некрашенный дом в два этажа. Окна были неровные, одно выше другого, только

три внизу и два сверху были раскрыты, остальные защиты досками, замкнутыми ставнями. Парадная дверь открывалась прямо в бурьян, в нем была протоптана узенькая тропинка.

Около двери, обшитой рваным войлоком, стояли Ураган - карий, в шишках, старый мерин - и каштановая собака. Оба они глядели на дверь, из которой каждое утро выходил хозяин, вынося сахар и хлеб. Увидев же Щепкина подошедшим с улицы, мерин и собака удивились. Ураган замотал головой, Жук широко зевнул. Он вынул из кармана сахар и хлеб, отдал их собаке и мерину. Затем еще раз извинился и вошел в дом.

- Вы уж меня, дружки, извините, - сказал Щепкин, - задержался я по случаю грозы.

Комнаты здесь были огромные и заглохшие, затянутые паутиной. Иногда приходила баба, подметала пол, пекла хлеб и ставила самовар; остальное время Щепкин пил холодный чай, находя это необременительным и даже полезным. От мяса же отвык давно. Бывая у Долгова и не желая обидеть, он ужинал иногда, но каждый раз после этого страдал. Одно его заботило - зимние холода, и каждый раз в октябре он продавал что-нибудь из вещей и покупал омет кизяку на эти деньги. Отдав большую часть земли крестьянам, а другую уступив им же задешево и раздарив деньги тем, кто нуждался или просил, он всегда с сожалением расставался с прекрасными вещами, хотя на картины никогда не смотрел, а фарфор стоял в пыльных, глухих шкафах, ключи

от которых были потеряны. Ценил же он и любил душевно только книги.

Пройдя сейчас в библиотеку, с окнами в сад, он опустился в кресло, вытянул уставшие ноги и положил руку на кипу журналов, заваливших круглый столик.

Здесь были - "Современник", "Сын отечества", "Москвитянин", "Вестник Европы", "Неделя", Герцен, Спенсер, Бокль, Милль, Адам Смит и прочие и прочие хорошие, идейные, верные книги; в них было видно, как за несколько десятков лет бурлящий в идеальной и романтической пустоте дух человеческий

осел, наконец, в виде практического и трезвого смысла... Щепкину казалось, что вся его жизнь - мечты, отречения и труд - запечатлены в этих кипах пыльных книг. Он сам пережил и осуществил мечты сороковых годов, и горячую

очистительную работу шестидесятых, и тусклое, бездеятельное томление восьмидесятых, и новое, как откровение, ясное, как кирпич в руке, - учение Карла Маркса... Он два раза беседовал с Герценом и портрет Михайловского всегда держал на столе. Трогая и перелистывая старые книги, он точно оглядывался на себя, будто весь долгий путь его на земле был всегда с ним в этой круглой, установленной высокими шкафами, покрытой пылью комнате, освещенной солнцем сквозь темные ветви лип.

Увлечение Марксом окончилось у него неожиданно жестокой тоской.

Щепкин

счел это слабостью и старчеством. Однажды, сидя за чаем, глядя на перекошенное лицо свое в самоваре, почувствовал, что нельзя просто лечь в

землю, забыть все, покончить со всем: слишком много было прожито, чтобы все

это отдать червякам. Какая-то часть его погибнуть не может. В сущности, живя для других, он жил для какой-то высшей цели, и вот то, что находится в этой цели, - больше всех общественных идеалов, больше, чем вся земля, и это не хочет и не может умереть.

Возмутился Щепкин подобным мыслям, но стало ему таинственно и сладко. Все окружающее его, вся жизнь приобрели особое значение. Он принялся читать

те статьи, которые пропускал раньше, и все настойчивее стал ожидать нового часа, когда спадет с глаз еще одна пелена.

Сейчас, поглядывая то в окно на запущенный и еще мокрый сад, то на милые книги, то на желтую и костлявую руку свою, лежащую на "Сыне отечества", он думал, что все это придется оставить и почти перед концом приняться за утомительные заботы о желудке, о мерине и о Жуке. "Вот оно, барство, и сказалось, - думал он, - как его ни вытравляй - всегда подгадит. Всем хочется отдохнуть, да не всякому отдых нужен, мне же он, пожалуй, и вреден. Вот я все думал - что мне нужно сделать последнее, теперь знаю - принять это изгнание отсюда с радостью. Трудиться из-за идеи всякому приятно, а вот безо всякой идеи поступлю на двенадцать рублей жалованья, вот это так! В пастухи могу наняться, тогда и Жук и Ураган будут пристроены..."

Но все же ему было обидно, хоть и сдерживался он и попрекал себя, сколько мог...

На дворе в это время залаяла собака и послышался хруст колес по аллее. "Кому бы это быть?" - подумал Щепкин.

Он очень любил гостей: в каждом новом человеке видел единственные, неповторяемые качества, искривления души, новую, всегда бесконечно привлекательную форму. Поэтому он бывал благодарен захавшему к нему, старался сделать приятное, подарить что-нибудь из вещей и каждый раз, извиняясь за невозможность угостить, трогал холодный самовар и говорил: "Ах, вот досада".

Жук перестал лаять, хлопнула вдалеке дверь. Щеп-, кин вышел в залу и увидел Долгова и Растегина, который, удивленно оглядываясь, имел вид человека, сильно потрепанного и еще не совсем просохшего.

- Где у тебя кованный сундук на трех замках стоит, вот мы зачем приехали, - проговорил Долгов, - я видел его лет десять назад, иди, иди, показывай!

Щепкин стал извиняться за беспорядок, припоминать, где может стоять сундук...

Вдруг Растегин воскликнул вне себя:

- Послушайте, у вас - музей, вы ничего не понимаете!

- Да, это еще крепостные работали, - ответил Щепкин, - вот это Федор, а то сделано Степаном, о нем предание даже сохранилось, будто он сначала видел во сне кресла и диваны, а потом уж их мастерил. Я все никак не соберусь убрать это старье куда-нибудь; труда на него положено много, пользы - никакой...

- Варварство! - завопил Растегин. - Целая культура у него в дому гниет, а он говорит о пользе, да я все освобождение крестьян за одно вот это кресло отдам!

Щепкин испуганно поглядел на Растегина.

- Как, это кресло вам дороже освобождения крестьян? - проговорил он и потер, точно согревая, ладони.

- Фарфор, черт меня возьми, екатерининский; Гарднер, старый Кузнецов, императорский завод, - уже вне себя вопил Растегин, - слушайте, я все покупаю, давайте цену... Поскорей показывайте платья, фарфор, бронзу, кружева, плачу за все. Боже мой, это павловский стиль, смотрите, чистая Елизавета...

Его повели в чулан, где он со стоном схватился за голову; открыли крышку сундука, и оттуда пахнуло старыми духами. Он перебирал платья, платки, кружева, истлевшие туфельки; вскрикивая, взглядывая на вышивку, выворачивал глаза, нюхал ее, обозвал Щепкина телятиной и еще чем-то; завернулся в персидскую шаль.

- Сколько вы хотите? Только не грабьте, говорите цену - десять тысяч, пятнадцать, только - чтобы расписка была, чтобы видели, а то, знаете, у нас в Москве ничему не верят...

- В сущности говоря, эти вещи не продажные, это все моей матушки вещи, - заикнулся было Щепкин.

- Двадцать тысяч! - воскликнул Растегин, вытаскивая чековую книжку, при этом он так наступил на хозяина, что тот прошептал, испугавшись:

- Ну, хорошо, хорошо.

Долгов и Растегин, взяв пока кое-что из платья, уехали. Щепкин остался стоять посреди темной залы, затянутой паутиной; чек на двадцать тысяч дрожал у него в руке.

"Фу ты, как все это скоро, - подумал он, - что же мне теперь делать с этими деньгами?"

Он подошел к пыльным шкафам, где стоял фарфор; с удивлением, точно первый раз, поглядел на мебель; в раздумье остановился у окна, за которым было видно пожарище, и вдруг ему стало стыдно и неловко.

"Ну, конечно, все это Долгов подстроил, - подумал он, - но зачем же столько было дарить, мне достаточ-" но было и тысячи рублей".

Думая, как теперь устроиться, выкупить ли вновь усадьбу, или нанять простую избу, или сесть на хлеб к Долгову, он внезапно представил себе длинный ряд старческих сонных лет, чахлое и нудное угасание, словно уже видел себя попивающим на балконе чаек за чтением "Крестового календаря".

- Да, жить можно в свое удовольствие, - проговорил он, - еще лет десять, пожалуй, отмахую! Благодетелем буду, благотворителем. Придет мужичок, дам ему полсотни на семена, а дети малые ручку будут у дедушки целовать. Где, бишь, я об этом читал?. Именно вот про такого старичка приятного, - всю жизнь он трудился и не роптал, а на склоне лет получил от господ бога милость и благодеяние, на радость себе, на добрый пример всем людям. А вот взять сейчас и отдать сей чек погорельцам! И то, отдам! Что-то уж очень противно.

Стараясь не улыбнуться, сдерживая бьющееся сердце, боясь, как бы от внезапной радости не подкосились ноги, Щепкин поспешно спустился с лестницы

и, подмигнув Урагану, отправился к пожарищу. День казался ему особенно ясным, как никогда, и птицы - иволги и дикие голуби - пели в саду райскими голосами.

Александр Демьянович, сидя подле Раисы в просторном тарантасе, нагруженном ящиками с фарфором, платьями и старинными вещами, - скакал во весь дух к железнодорожной станции.

Подводы с мебелью и громоздкие сундуки должны были тронуться на днях, он поручил это сделать Чувашеву, сам же спешил поскорее от греха выбраться из уезда.

Солнце закатилось, и в мокрых ржах кричали перепела. Растегин вертелся на подушках, вне себя от нетерпения и радости. Поездка удалась, как он и не думал; сердце у Раисы прошло, она была даже приветлива, только иногда глаза ее неподвижно останавливались на спине кучера, но Растегин большого значения этому не придавал. Обнимая ее за плечи, наклонясь к маленькому уху, он спрашивал: "Скажи, моя великолепная, чего тебе еще хочется?"

- А я сама не знаю, - отвечала Раиса.

- Ты моя мечта, ты мой экссесс, - шептал он ей в губы.

- А мне так не нравится, как вы меня называете, - отвечала она отворачиваясь, - зовите лучше Раисой!

- Когда ты будешь моей?

- Ишь, как торопитесь! Когда захочу, тогда и буду.

- Я не доживу до этого дня.

- Жили до сих пор, ну и доживете. Чевой-то, как комары кусаются.

Комары действительно кусались; самые сильные из них и смелые попевали за тарантасом, впивались в щеки и лоб, пищали под самым носом, на морщинистой шее у ямщика сидело их восемь штук.

В острых разговорах, в допытывании взаимности незаметно пролетела дорога. Закат потускнел, позеленело небо; точно вымытые вчерашним дождем,

появились на нем звезды. Невдалеке, в темном поле показались желтые и белые огни станции. Тарантас загромыхал по бульжнику, мимо крытых дерном погребов, и остановился у заднего крыльца вокзала, где торчал железнодорожный юноша, изо всей силы зевая.

- Бери вещи, живо! - крикнул ему Растегин, высаживая Раису.

Железнодорожный юноша посмотрел и ушел, ничего не сказав. Александр Демьянович покричал сторожа, возмутился, но все же ему самому, вместе с ямщиком, пришлось перетаскать ящики из тележки в залу I - II класса.

Здесь, между двух открытых окон, стоял дубовый диванчик, перед ним круглый стол, покрытый черной клеенкой. На ней горела лампа с круглым матовым колпаком; валялась шелуха от воблы, семечек и крошки хлеба. В глубине, на прилавке, спал какой-то мужик, завернувшись с головой в полушубок. Раиса прилегла на диванчик, Александр Демьянович сел напротив

нее к столу. В открытые окна влетало и улетало такое множество комаров, что воздух звенел от их писка. Раиса медленно натянула на лицо себе платок и, должно быть, заплакала, потому что плечи ее стали подергиваться. Растегин принялся было утешать, но она ответила: "Оставьте меня, пожалуйста", - и он вернулся на место, но сейчас же вскочил, - комары пропихивали голодные носы

сквозь пиджак, а ноги горели, как обожженные.

Разыскивая начальника станции, Александр Демьянович попал в небольшую комнату, где тикал телеграф и стояли два красных аппарата вроде турецких памятников, у каждого из середины торчала небольшая трубка с раструбом.

- Эй, где тут начальник станции? - громко спросил Растегин, - он стоял посреди комнаты и прислушивался. Вдруг одна трубка заревела басом: "У-у-у-у", а другая заквакала, как лягушка. В пустой степи какие-то трубки: Растегину стало не по себе. "Эй, сдохли бы вы все, что ли!" - закричал он злым голосом. Наконец из маленькой двери вылез толстый, небольшого роста, молодой человек в голубой расстегнутой рубашке; сильно почесывая волосы и щурясь на свет, он подошел к аппаратам; красные щеки его, губы, подбородок и живот были такие толстые, точно их нарочно оттягивали от нечего делать. Растегин спросил, когда же будет, наконец, поезд.

- Поезд? - переспросил молодой человек, - поезд, значит, опоздал. Значит, это, как его... - он покряхтел, затем обиделся и сказал: - Что вы хотите? Сюда посторонним лицам вход воспрещается. На семь часов опоздал. Ах, ты, пропасти на них нет, - и он опять ушел в маленькую дверку.

Растегин в отчаянии вернулся к Раисе.

- Так ты за этим меня сюда привез? Комаров кормить? - сказала она ему из-под платка, - ах ты, бессовестный!

В тоске Александр Демьянович то вертелся на стуле, стараясь добиться хоть одного слова от обозлившейся Раисы, то выходил на перрон. Здесь было еще гаже, - темно, сыро, далеко до рассвета, в небе торчали все те же звезды, на земле блестели две пары рельсов. Не было ни лошадей, чтобы ехать отсюда, ни буфета, никакой рожи, хоть бы накричать на нее со злости.

Часу во втором утра послышался звон колокольчика. Растегин в это время, раскупорив один из ящиков, просматривал старый альбом с незнакомыми

фотографиями давно умерших людей. Услышав колокольчик, он сказал: "Раиса,

голубушка, приободришь немного. Вот еще кто-то едет. Все вместе и переждем. Нельзя же так падать духом". Неожиданно Раиса не только приободрилась, но словно с большим волнением приподнялась на диванчике, прислушиваясь. Припухшие губы ее медленно усмехнулись, а светлые глаза уставились на Растегина так странно, что он смутился и спросил поспешно: "Что такое?" Раиса опять закрылась платком, вся вздрагивая, но, должно быть, не от слез на этот раз, а от смеха. Колокольчик прозвенел близко, бешено зазвякали подковы, затрещали колеса. Растегин двинулся было к двери, но в ней уже появился Семочка Окоемов, засучивая полотняные рукава, а из-за бока его выглядывал Дыркин.

- Папашка, - закричала Раиса со смехом, - я здесь, ей-богу! - она сидела на диване, упершись руками в колени и смеясь во весь рот.

Растегин отступил, ноги его стали как перешибленные, и заболел низ живота. Окоемов, сильно дыша, подошел к нему, взял за ворот, встряхнул один раз, спросил: "Ты будешь к нам ездить?" - тряхнул другой раз, повторил: "Будешь к нам шататься, чучело бритое?" - тряхнул в третий и, ничего более не прибавив, повернул его к двери и, дав сильного леща, пустил лететь через порог до самого перрона...

Александр Демьянович упал, ахнул, но сейчас же приподнялся и увидел,

как в одном освещенном окне обнимались то Дыркин с Раисой, то Окоемов обнимал Раису, а в другом окне, высунувшись, хохотал до слез, тряс косматой головой толстый начальник станции в голубой рубашке.

Затем через окно к ногам Александра Демьяновича полетели все шесть ящиков с фарфором и старинными вещами. Послеэтого зазвенел колокольчик, протопали лошади, прогремели колеса, и топот и звон понемногу затихли. Небо засерело у краев и зазеленело. Александр Демьянович, опустив голову, сидел на ящике, ожидая поезда.

"Попадись теперь мне Опахалов, мазила несчастный, - думал он, - я ему покажу двадцатые года! Тоже - стиль выдумали, бездельники проклятые!"

Издали за лесом за клубился белый дымок, и долетел протяжный свист поезда.